

«объяснительному» голосу. Вместе с тем авторы не менее остро ощущают пагубность «дурного» субъективизма, разрывающего единую ткань истории на нитки мнений и случайностей. Отсюда упорное стремление выявить общее, передать непередаваемое — стихийное и иррациональное и т.п. Авторы, похоже, уверены в том, что «верх над конечным возьмёт бесконечное». Действие книги разворачивается как бы на двух уровнях: на одном находятся герои «повседневности» — переживающие и рефлексиирующие современники революционных событий, на другом — боги эпистемологии, социологии и хаоса. Встреча этих «уровней» оборачивается трагедией...

Едва ли в такой работе могло обойтись без противоречий. Но авторы, кажется, их вовсе не боятся, напротив, стремятся, по возможности обнаружить и сделать предметом дальнейшего анализа. Тем самым они по сути «вызывают огонь на себя». Указывая на те или иные «нестыковки» и «неувязки», многие, видимо, смогут сказать, что «нет проку в осмеянном, всем ненавистном безумном учении». Впрочем, за минувшие два года этого не случилось. Книга ещё нуждается и в осмыслении, и в обсуждении, в каком-то смысле она ещё ищет своего читателя. «Мы же возбудим течение встречное»...

В обсуждении монографии приняли участие: доктор исторических наук профессор Б.И. Колоницкий (Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский институт истории РАН), почётный профессор Мичиганского университета У. Розенберг и кандидаты исторических наук В.Б. Аксёнов (Институт российской истории РАН), С.С. Войтиков (Центральный государственный архив города Москвы) и Ф.А. Гайда (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова).

Материал подготовлен А.В. Мамоновым

Борис Колоницкий: Многоликий патернализм

Boris Kolonitsky (European University at Saint Petersburg; Saint Petersburg Institute of History, Russian Academy of Sciences): A multifaceted paternalism

Новая монография В.П. Булдакова и Т.Г. Леонтьевой может отпугнуть современного читателя внушительным объёмом — 45 печатных листов. Для многих студентов ныне и не столь большие тексты становятся, к сожалению, непреодолимым препятствием. Но внимание специалистов — и не только историков — этот труд, безусловно, привлечёт, поскольку его авторы хорошо известны как учёные, давно изучающие историю России XIX–XX вв. Читатель, следящий за их творчеством, увидит, что в данном исследовании получили развитие некоторые сюжеты, уже затронутые ими в ранних работах.

Главным героем книги является многоликий, многомерный, вездесущий *российский патернализм* начала XX в. Он то предстаёт в виде «патерналистской государственной системы» (или «патерналистски-полицейской системы»), то оборачивается патриархальным социумом, в котором действует власть, то выражается в «имперско-патерналистском сознании», делающем возможной существование такой системы и этого социума. В то же время речь всегда идёт о «патерналистской власти» и самых разных чертах и аспектах «патерналистского деспотизма» (с. 65) — их анализ представляет для авторов важную исследовательскую задачу.

Российский патернализм описывается ими как «вотчинный», социально-пассивный, в отличие, например, от японского, которому приписывается

«военно-дисциплинирующее начало», стимулируемое сначала снизу, а затем и сверху (с. 66). При всей своей внешней авторитарной мощи патернализм весьма уязвим в условиях серьёзных кризисов, ибо стремится «самоубийственно» запрятать внутрь деструктивные процессы (с. 6). В иных обществах и культурах разные социальные и политические силы постоянно проходят подготовку к грядущим кризисам, участвуя в открытых конфликтах меньшего масштаба, а патернализм стремится максимально долго откладывать решение острых проблем, «замораживать» ситуацию, представлять её бесконфликтной, что ослабляет систему в тот час, когда игнорировать вызовы уже невозможно. Привыкая ощущать себя объектом руководства, заботы и опеки со стороны «всемогущей» государственной власти (с. 62), люди становятся пассивными. Патерналистские империи порождают особый тип культуры, основанной на романтизированном преклонении перед «настоящей» властью (с. 608). До какой-то степени это отношение, доходящее до сакрализации, способствует стабильности «патерналистского деспотизма», однако если ожидания не оправдываются, подобные настроения могут существенно усугубить кризис.

Российская политическая система воспроизводила «застойные» явления, которые часто отмечались и болезненно переживались современниками. Бюрократическая элита заботилась о текущей конъюнктуре, а не о будущем, стабильность была для неё важнее прогресса. При таких обстоятельствах расчёты на модернизационный рывок на «автохтонной социокультурной базе» вызывали сомнения (с. 178). В условиях же кризисов, требующих инициативы, оперативного принятия самостоятельных решений на разных уровнях управления, тяга к стабильности может поставить страну в заведомо проигрышное положение, парализуя и крайне затрудняя общественную мобилизацию (с. 349). Характерно, что и в «низах», ждавших приказов и распоряжений, заботы и опеки, проявлялось порой отсутствие самостоятельности. Так, нараставшие в годы войны сбои в снабжении населения продовольствием сопровождались не ростом предпринимательской активности, а усилением неоправданно завышенных потребительских ожиданий (с. 425).

По мнению авторов, патерналистская система и присущая ей психология пассивности в условиях тотальной войны постоянно порождали катастрофические сбои в работе административного механизма (с. 67). И хотя не очевидно, была ли Первая мировая война для России «тотальной», связь между специфическим настроением общества (или, точнее, его «политической культурой») и кризисом управления, несомненно, существовала. Кроме того, в экстремальной ситуации власть слабела, становилась всё агрессивнее, и одновременно падала склонность к взаимному сотрудничеству различных сил, в том числе — предпринимателей и правительства (с. 206).

Сложившаяся система затрудняла и использование опыта экономической мобилизации иных стран, прежде всего Германии, где вмешательство государства в экономику позволяло рациональнее использовать ресурсы в военное время. До войны у России имелся свой опыт государственной организации народного хозяйства, но следовать немецкому примеру было сложно, поскольку российская экономика строилась на патерналистских, а не рационально-организационных основаниях. Империя была расколота в культурном, сословно-социальном, хозяйственном отношениях, и в экстремальной ситуации это приводило к окончательному разрыву коммуникативных связей (с. 215).

Авторы исходят из известной концепции многоукладности российской экономики, но полагают, что многие социальные и экономические проблемы были обусловлены не столько самим фактом наличия различных укладов, сколько особенностями связей между ними. Действия бюрократии, замыкавшей продуктообмен на себя, сочетались с замкнутостью наиболее архаичных укладов и усиливались отсутствием общего гражданского понимания хозяйственного блага, в результате в условиях войны многоукладность оборачивалась «многоконфликтностью». Архаичная хозяйственная система активно отторгала распределительные интенции государства, а это подрывало основы и авторитет патерналистской власти (с. 220).

Особенности же патерналистского сознания определяли общественную реакцию на кризисные явления: перебои в поставках продовольствия воспринимались как «голод», а это вызывало недовольство властью, поскольку «монополия на насилие в России всегда подкреплялась иллюзией о том, что она не даст умереть с голоду в экстремальных обстоятельствах» (с. 413).

Авторы обращают внимание на принципиальную несовместимость с патерналистской властью деятельности всех российских политических партий независимо от взглядов их лидеров, часть которых искренне стремилась к достижению национального единства в условиях войны. При этом наиболее деструктивную роль сыграли не левые, а центристские партии и даже правые силы (с. 345). По словам Булдакова и Леонтьевой, «вся российская партийно-политическая система работала на самоуничтожение, а не на организацию страны для победы» (с. 372). Исследователи намеренно заостряют свой вывод: «Свергать правительство было некому, но некому было его и защищать» (с. 372). Такая сознательно провоцирующая читателя формулировка непременно вызовет немало возражений, однако нельзя не признать, что успех революции объяснялся не только борьбой революционеров (которые, разумеется, не сидели без дела), но и готовностью (или неготовностью) сторонников власти оказывать им организованное, слаженное и инициативное сопротивление. И нарастание активности противников правительства, и распространение пассивности в рядах тех, кому следовало его отстаивать, нуждаются в изучении, хотя, конечно, действия анализировать проще, чем бездействие.

Существенным аспектом кризиса власти была общественная деморализация (действительная или воображаемая), составлявшая контекст политических конфликтов. Критика падения нравов и «разложения верхов» играла большую роль в делигитимации режима в военную эпоху, которая отбрасывает многие моральные запреты, и авторы книги немало пишут об этом. Они полагают, что в условиях патерналистской системы подобная деморализация особенно опасна в период потрясений, когда за первоначальным эмоциональным перевозбуждением подданных может последовать «моральное выгорание» (с. 384). Как энтузиазм, так и апатия нередко создавали рамку для борьбы за власть.

Размышляя о влиянии патернализма на положение Российской империи в период революционного кризиса, авторы описывают её как устойчиво неравновесную систему, которая держится за счёт микроконфликтной самоорганизации, но не выносит чрезмерно жёстко навязываемого «порядка». Самонастройку имперской системы стимулировали «малые войны», которые были для неё «обычным» состоянием (с. 18). Однако они стабилизируют лишь некоторые измерения патерналистской империи, необычайно чувствительной к любым

нарушениям внутреннего баланса (с. 18–19). Изменить же его может, например, резкое возрастание доли молодёжи в стране. Впрочем, подобные демографические изменения представляют серьёзный вызов не только для патерналистских систем. Да и сами авторы, похоже, признают глобальное значение омоложения населения и влияние этого фактора на восприятие социального неравенства (с. 27). В целом же Булдаков и Леонтьева справедливо отмечают, что «казённо-православный патернализм», какие бы цели ни ставили его адепты, объективно не способствовал укреплению интегрирующего ядра империи (с. 558).

Важным элементом развала патерналистской иерархии являлась ситуационная консолидация сообщества антисистемных элементов. По мнению авторов, в России такую роль играла «интеллигенция», мировоззренческие установки которой резонировали с народными утопиями и предрассудками (с. 19). Между тем противопоставление «интеллигенции» и «народа», имеющее давнюю традицию, требует оговорок. Оно игнорирует, например, ряд важных культурных, политических и социальных процессов, которые современники описывали, используя неточные понятия «народная интеллигенция», «рабочая интеллигенция». Впрочем, в какой степени историки могут использовать язык революции для создания своего исследовательского понятийного инструментария?

Вызовы мировой войны потребовали социальной мобилизации. Авторы книги считают, что были возможны два её варианта: имперский — основанный на безусловной верности сакральной фигуре вождя, и гражданский — подразумевающий общественную спайку с помощью «коммуникативного разума» (термин Ю. Хабермаса). Но ресурс патерналистской солидарности был ограничен, а гражданское общество, как утверждают авторы, в России ещё не сложилось. Во всяком случае, его потенциал был недостаточен для масштабного развёртывания социальной мобилизации в условиях войны. Патерналистская система ставила непреодолимые препятствия для «коммуникативного разума», а когда авторитет вождя оказался поколеблен, возникла почва для распространения того, что Булдаков и Леонтьева именуют «коммуникативной дурью»: оставшись наедине со своими страхами и предрассудками, люди подвергались общественным психозам (с. 106). Так, «настроение 1914 года», исследованное уже историками, изучавшими его особенности в Германии, Франции и Великобритании, в России было скорее не пробуждением осознанных национально-патриотических чувств, а малоизвестным ранее приступом агрессивной эйфории. Людей охватывала вера в чудо преображения войной, которая подпитывала очень разные, иногда противоречивые ожидания (с. 280). Причём разные люди ждали далеко не одних и тех же общественно-политических чудес, и это сулило многомерные конфликты в будущем. Хотя, конечно, следует отметить, что завышенные ожидания и эйфорические переживания в начале войны были присущи и народам других воюющих стран с иной культурой.

Авторы полагают, что подогреваемый патерналистскими иллюзиями «догражданский патриотизм», проявившийся в 1914 г., грозил самыми непредсказуемыми трансформациями, а надежды верхов на благополучный выход из создавшейся ситуации были преждевременными (с. 303). Одновременно начало войны пробудило ощущение неуверенности и страха, что способствовало архаизации общественного сознания, «скрашенной выжидательным эсхатологизмом» (с. 174). Неудивительно, что срывы массовой психики, в 1915 г. происходившие уже «повсеместно и постоянно», беспокоили современников. В ноябре

на страницах газеты «Сибирская жизнь» обсуждался даже вопрос о создании «психологического тыла» (с. 296). С другой стороны, «очень многие ощущали “нарушение внутреннего равновесия”, связывая его — в соответствии с логикой патерналистской психоментальности — с теми или иными “врагами”». Между тем в исторических работах начала XXI в. «тогдашнего “нарушения равновесия”» современные авторы уже не ощущают и тем охотнее бросаются на поиски всевозможных «заговорщиков» (с. 319). Всплеск шпиономании и конспирологии в годы мировой войны наблюдался и в Европе, но Россию, в силу патерналистского сознания, потрясла не война и даже не военные поражения, а подозрения относительно того, кто в них виновен (с. 385–386). Различные политические силы пытались использовать общественную подозрительность в своих целях, выдвигая собственные конспирологические интерпретации. Однако, несмотря на то, что ими назывались разные «предатели», все подобные толки вели к делегитимации власти.

И всё же вряд ли волны шпиономании и конспирологии следует связывать исключительно с патернализмом и авторитаризмом — ведь такие явления в годы Первой мировой войны были присущи всем воюющим странам. В Германии некоторые силы даже имперского канцлера обвиняли в том, что он являлся «агентом влияния» Британии, а в Англии бдительные патриоты обрушились на гомосексуалистов, заявляя, что разложение «старых добрых нравов» было следствием коварного плана немецких спецслужб, давно уже де подрывавших здоровье и нравственность потенциального противника...

Социальная и психическая напряжённость переходила в конфликт культур. Как пишут Булдаков и Леонтьева, в России на протяжении многих лет сохранялся латентный конфликт между «городской» (чиновничьей, предпринимательской, «барской») и «сельской» (традиционной) культурой, в условиях же войны он обострился и получил антивоенную и антиправительственную направленность (с. 322). Вместе с тем этот конфликт культур мог получать иное выражение, поскольку в нём проявлялись этнические, религиозные, сословные, поколенческие и другие противоречия, о чём, собственно, и сказано на других страницах книги.

Имперско-патерналистское сознание определяло и те обстоятельства, при которых произошло крушение «старого режима»: «Власть, которая столетиями отучала своих подданных рассчитывать на собственные силы, должна была пасть жертвой не коварных заговорщиков и не организованных революционеров, а стихийного бунта» (с. 397). Подобное намеренно заострённое утверждение указывает на позицию, которую занимают авторы в давней дискуссии о соотношении «стихийности» и «организованности» в февральских событиях 1917 г. В последнее время повышенный интерес историков, журналистов, читателей вызывают всевозможные заговоры — генеральские, масонские, либеральные, германские, британские... В этом историографическом контексте задиристое заявление Булдакова и Леонтьевой следует с оговорками поддержать, хотя вряд ли вообще стоит использовать противопоставление «организованность» и «стихийность» при исследовании сложных социальных явлений. Всякая подобная оппозиция является очень грубым инструментом познания, и никогда массовые движения не бывают ни полностью «стихийными», ни исключительно «организованными».

Характер уже свергнутого строя продолжал влиять на постмонархическое общество: революция в империи, выстроенной на архаических принципах,

не могла свестись к простой смене политического режима, ибо в системе власти и подчинения слишком многое было обусловлено эмоциями, связанными с фигурой императора (с. 465). Возникшая же при царизме партийно-политическая система в своём развитии в период революции испытывала ограничения, объяснявшиеся всё более архаизирующейся и радикализирующейся политической культурой населения (с. 493). Вместе с тем революция не ослабила, а усилила патерналистский компонент общественного сознания, о легитимности власти судили лишь на основании того, как разрешались насущные повседневные проблемы (с. 497). Архаичные формы социальных отношений в новой «социалистической» оболочке получали всё более широкое распространение (с. 531). Патерналистская система проявила необычайную живучесть и приспособляемость к иному идеологическому оформлению (с. 699), «коммуникативный разум» подавлялся «коллективным инстинктом», и привыкшие к опеке народы в своём «бегстве от свободы» видели выход из кризиса в поддержке «своего» диктатора.

Наиболее эффективный способ проникновения в эпоху Булдаков и Леонтьева видят в сопоставлении «объективных» и «универсальных» данных с источниками личного происхождения (с. 24). Они часто обращаются, например, к интересным материалам цензуры, выявленным в Государственном архиве Российской Федерации (лишь часть их ранее анализировалась специалистами). Широко используются ими и воспоминания, в том числе и впервые обнаруженные в архивах. Однако временная дистанция всегда искажает восприятие прошлого, и по мемуарам всё же нельзя судить о непосредственной реакции участников событий. Более оправдано привлечение авторами такого неожиданного источника, как фантастическая художественная литература начала XX в., — эти тексты ярко передают ожидания и страхи эпохи.

Авторов книги отличает прекрасное знание исследовательской литературы и источников, они используют и зарубежную литературу, и российские издания, появляющиеся в провинции (последние порой содержат очень ценную информацию, но, к сожалению, не всегда поступают даже в библиотеки крупных университетов и научных институтов).

В книге встречаются некоторые неточности. На с. 296 указывается: «Первыми в октябре выступили моряки на Гангуте». Но в данном случае речь идёт не о топониме, а о линейном корабле «Гангут». К сожалению, есть в монографии и несколько «глухих сносков»: порой важный вывод делается на основе отсылки к архивному делу, однако читателю не сообщается о том, что именно в нём находится (ссылка 239 на с. 77, ссылка 90 на с. 122, ссылка 1 на с. 175 и др.).

Порой Булдаков и Леонтьева чрезмерно «экзотизируют» Россию, преувеличивая её исключительность и своеобразие. Так, они утверждают, что российские города, являвшиеся прежде всего административными центрами, были куда более взрывоопасны, чем европейские (с. 19). Вряд ли можно говорить о едином феномене «европейского города», улицы некоторых провинциальных центров и там становились местом острых социальных и политических столкновений, малых и больших гражданских войн, достаточно вспомнить, например, историю Барселоны в XX в.

Не все утверждения авторов в равной степени убедительны. В большинстве случаев они кажутся весьма правдоподобными, но нуждающимися в более жёсткой аргументации. Поэтому некоторые оригинальные выводы авторов, видимо, только намечают путь для дальнейших исследований. Но это не упрек:

в науке постановка важного и актуального вопроса является весьма сложной задачей, требующей и высокой квалификации, и воображения. Такое сочетание встречается крайне редко, и авторы его успешно демонстрируют.

Научные труды, возбуждающие всеобщее согласие, редко живут долго. Напротив, тексты, пробудившие острые споры, оказывают обычно большее влияние на изучение темы, чем многочисленные штудии, «уточняющие» и «дополняющие» авторитетные концепции. Можно с уверенностью сказать, что рассматриваемая книга вызовет полемику. Её авторы ставят вопросы не только актуальные для профессиональных историков, но и необычайно важные для читателей начала XXI в.: страхи и надежды нашего времени заставляют по-новому задуматься о фобиях и утопиях столетней давности.

К достоинствам данного исследования следует отнести и его «непартийность». К сожалению, до сих пор немало историков, следуя конъюнктуре или по зову души, предлагают читателям монархистские и либеральные, имперские и националистические, неосталинистские и троцкистские, «белогвардейские» и «красноармейские» интерпретации минувшего. Книга же Булдакова и Леонтьевой приближает нас к тому моменту, когда мы сможем сказать, перефразировав известного французского историка: «Российская революция закончилась». Впрочем, время это наступит не скоро.

Уильям Розенберг: Трагедия конкурирующих невозможностей

William Rosenberg (University of Michigan, USA): A tragedy of competitive impossibilities

Важнейшие исследования последних лет, посвящённые революционному периоду истории России, можно условно разделить на четыре типа. Во-первых, это широкий спектр весьма полезных монографий, в которых продолжается разработка тем, давно признанных принципиально важными для осмысления этого времени, таких как состояние российских финансов, железных дорог, аграрного сектора и крестьянства, военно-промышленного комплекса, политических партий и организаций, национальных движений и имперского управления, влияние Церкви и различных общественных и культурных институтов на ход социальных и политических процессов в революционной России, их локальная и региональная специфика и т.д. Эти труды существенно подкрепляют новые сборники архивных документов. В целом, необходимое изучение эмпирического материала по-прежнему притягивает внимание основной массы серьёзных учёных как в России, так и за рубежом³.

Во второй, чрезвычайно интересной, хотя и не столь значительной, группе работ представлены попытки раскрыть новые исследовательские направления, используя последние теоретические изыскания в области исторических и социальных наук. Среди них – публикации Б.И. Колоницкого о роли символов и слухов в формировании представлений о власти, А.Б. Астахова

³Трудно отметить все книги. Многие историки изложили выводы своих последних работ в издательской серии «Russia's Great War and Revolution», подготовленной издательством Slavica Publishers (Bloomington (Indiana), USA), под общей редакцией Э. Хейвуда, Д. Макдональда и Дж. Стейнберга. См. также: Россия и Первая мировая война / Отв. ред. Н.Н. Смирнов. СПб., 1999; Человек и личность в истории России, XIX–XX век / Отв. ред. Н.В. Михайлов и Й. Хелльбек. СПб., 2013; Эпоха войн и революций: 1914–1922: Материалы международного colloquium (Санкт-Петербург, 9–11 июня 2016 года) / Под ред. Б.И. Колоницкого и Д. Орловского. СПб., 2017.